

И.Ю. Кобзев

**НЕБЫВШИЕ ВСТРЕЧИ**  
(Роман во сне)

**ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ: ВЕНЕЦИЯ**



... Белый айсберг огромного парохода бесшумно закрыл собою остров Сан-Джорджо-Маджоре с оранжевым карандашом колокольни. Я даже вздрогнул от неожиданности. Этот океанский небосреб был здесь совершенно неуместен и поэтому нереален, как сновидение. Где-то я что-то подобное видел... Ах, да – это похоже на сцену сна в фильме Хотиненко «Гибель империи», когда герой видит, как в его комнату медленно всплывает гигантский карп, который едва в ней помещается. Нелепость сновидения компенсируется его быстротечностью – и вот уже снова в мутном зеркале лагуны отражаются белоснежные колонны собора Сан-Джорджо-Маджоре, а его колокольня снова служит отражением башни святого Марка за моей спиной. В этот момент удар колокола на башенных часах приветствовал своего собрата на той стороне канала. Я сижу в уличном кафе на набережной спиной к площади святого Марка и лицом к каналу. Передо мной, вытягивая тонкие шеи, пляшет на волнах, поднятых океанским лайнером, стадо привязанных к сваям гондол. Чайки оживляют эту картину своими изломанными силуэтами и резкими криками. «Нет это не сон, это действительно Венеция. И я в ней... А может быть Венеция – это сон Бога? Как и весь реальный мир вокруг нас? Вот неожиданная мысль: чем отличаются картины сновидения от реального мира? – Видимо тем, что мысль человека не может достаточно долго удерживать эти картины в неизменности. Стоит нам начать проявлять какую-то активность внутри этой картины, как она тут же начинает «плаваться», «оплывать», изменяться. Поэтому в реальности сна невозможны строгие физические законы, на которые бы могло опираться наше поведение. Как это происходит в настоящей реальности. Но может быть она - это сон Бога, который может бесконечно долго удерживать в неизменности свою мысль и эту реальность? Так долго, что мы даже успеваем исследовать ее и установить

в ней физические законы? Вот и вся разница. И получается, что на временах жизни человечества мир материален и подчинен строгим законам, а на временах существования Бога, которые мы склонны считать вечностью, мир идеален, мир есть мысль сновидящего Бога. Не разрешил ли я случайно основной вопрос философии?»

Я даже улыбнулся от удовольствия, которое мне доставила эта мысль, и победоносно обвел взглядом окружающий мир. И тут же заметил его: небольшой лысый человек с каким-то сияющим взглядом бледно-голубых глаз и детской блуждающей улыбкой тайного маньяка не отрываясь смотрел на меня. Кого он мне напоминает? – Точно! Это же вылитый Андрей Белый в старости. Заметив мое внимание к себе, незнакомец широко улыбнулся и направился к моему столику. «Сейчас окажется, что он русский», - недовольно подумал я, и в тот же момент услышал:

- Прошу прощения, Вы русский?

- Увы, - со вздохом ответил я...

- «Увы», – со вздохом ответил старик. «Кого-то он мне напоминал. Кого-то, кого я видел и слышал неоднократно. Да, эти развитые надбровья и лоб, продолжающий линию длинного носа, белая борода лопатой и прищуренные глаза, один из которых смотрит на Вас, а другой в Арзамас. И голос тот же, старческий чуть блеющий. Вспомнил! – Это же Глеб Носовский, или его двойник. Наверное все-таки двойник, но похож на него как близнец». Я постарался изобразить на своем лице всю любезность, на которую был способен, и спросил:

- Почему же «увы»?

Старик бросил на меня недовольный взгляд из под насупленных бровей. Точнее – его левый глаз недовольно посмотрел на меня, а правый в это время казалось продолжал рассматривать собор Сан-Джорджо-Маджоре:

- Потому что встретить за границей русского – это почти всегда означает нарваться на хамство, назывющееся «открытостью русской души»: того и гляди начнут хлопать по плечу и искать общих знакомых,

- Ну а если Вы видите, что перед Вами интеллигентный человек? – попытался я продолжить беседу,

- Это еще хуже: тут же начнется соревнование в эрудиции и начитанности – как у подростков, которые соревнуются кто дальше плюнет,

Я улыбнулся:

- Э-э, да Вы мизантроп?

Взгляд старика неожиданно смягчился:

- Увы, это так. А Вы что же, поклонник человечества?

- Что же остается, если принадлежишь к нему. А разве Вы не относите себя к человечеству?

- Увы, отношу. Но не слишком долго.

- Это сколько же?

- Ну, если мне шестьдесят, то примерно столько же и отношу...

Лысый человек усмехнулся моей шутке и уже без всяких церемоний подсел к моему столику:

- Н-да, не так уж и долго...,

- А главное, что не долго осталось, - решил я свернуть разговор. Но двойник Андрея Белого был непробиваем. Он махнул рукой официанту и заказал капучино. Потом снова с улыбкой обратился ко мне:

- «Человек смертен, Сократ – человек, следовательно Сократ смертен». Вы это имеете в виду?

- Плохо не то, что человек смертен, а то, что жизнь его слишком коротка,

- Коротка для чего? – быстро переспросил мой собеседник...

- Коротка для чего? – быстро перспросил я и заметил, что глаз старика сверкнул, и я услышал его блеющую скороговорку:
- Просто коротка – то есть охватывает слишком короткий промежуток времени, такой, с которого не увидишь того, что происходит в социуме. А раз не видно реальности, она заменяется фантазиями. Вот в истории и получается – все, что длится больше века, все одни фантазии. А на коротких промежутках времени, соизмеримых с жизнью поколения, происходит непрерывная война одних таких фантазий с другими – это и есть содержание политики.
- Вы хотите сказать, что если бы человек жил достаточно долго, то он избавился бы от политики? – поддержал я его речь,
- Может быть и не совсем, но по крайней мере ее не было бы так много в нашей жизни, как сейчас. И значения бы такого она не имела. А освободить жизнь человека от политики – согласитесь, что это уже очень много для решения проблемы человека.
- А в чем она состоит эта проблема, по Вашему? – подбросил я полено в костер его речи. Старик уже втянулся в беседу:
- В том, чтобы отделить наконец человека от животного
- А разве до сих пор этого не произошло?
- Нет, не произошло... Но происходило, и не раз. Попытки были и даже весьма успешные – свидетельство тому то место, где мы с Вами беседуем. Согласитесь, что моя фраза оказалась бы совершенно неуместной где-нибудь... в Мариуполе.
- Почему именно в Мариуполе?
- Ну не в Мариуполе. Какая разница? Вы сами-то откуда будете?
- Из Челябинска,
- Ну, тем более, - сказал он с нескрываемой брезгливостью.
- Что «тем более»?
- Тем более не Венеция. В Мариуполе хоть море есть. А вообще тот же Челябинск, только у моря.
- А Вы не патриот! – усмехнулся я. Старик снова сверкнул глазом:
- Патриот, только родина у меня другая,
- Какая же? – спросил я и отхлебнул принесенный официантом капучино.
- Вечная и призрачная Россия, в которой Фонтанка является естественным продолжением Канала Гранде, а Александровская колонна возвышается рядом с колонной святого Марка.
- Россия Бродского?
- Не только Бродского - Россия всех, кто живет внутри себя и в прошедших веках.
- А как же настоящее?
- А это и есть настоящее – то, что внутри себя. Оно и сохраняется в веках. А то, что снаружи – оно со временем сшелушится, как старая кожа, и его не сохранит память потомков.
- А Вы рассчитываете на память потомков? – спросил я, не сумев достаточно скрыть свою иронию. Старик, казалось, не заметил ее. Он ответил спокойно и даже почти величественно:
- Ну, если во мне живут мысли моих предков, то почему бы и моим мыслям не жить в моих потомках.
- И тогда что, как у Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»? – не унимался во мне мелкий бес. Старик ответил совершенно серьезно:
- Да нет, как у Пушкина все равно не получится. Я скептик: я не думаю, что когда-нибудь будет больше мыслящих людей, чем сейчас, - их всегда мало, процентов пять. Ну десять, в благословенные эпохи. Да больше и не нужно для того, чтобы разум не

угас в этом мире. И среди этих пяти проценов вполне может «пройти слух» и обо мне. Точнее не обо мне, а о моих мыслях.

- А ознакомиться с Вашими мыслями можно? – спросил я осторожно.

- Можно – мои мысли выложены в интернете.

- А можно адрес записать? – я пододвинул к себе салфетку и достал ручку.

- Пишите: [www.kobzev.net](http://www.kobzev.net)

- Спасибо, с удовольствием почитаю.

Тут взгляд старика потух, и он стал рассматривать собор Сан-Джорджо-Маджоре уже обоими глазами. Я тоже замолчал...

«Андрей Белый» замолчал и я подумал, что настал подходящий момент для того, чтобы раскланяться. Я максимально приветливо посмотрел на своего собеседника и сказал:

- Ну что, на этом можно было бы и расстаться?

- Вы уже уходите?

«Чисто интеллигентское хамство! Теперь действительно придется уйти»:

- Хочу пройтись.

- Позвольте составить Вам компанию, - не унимался лысый человечек. «Да, теперь от него не отделаешься», - подумал я и обреченно произнес очередную любезность:

- Ну, если у Вас нет срочных дел, извольте.

- Благодарю Вас! – вскочил человечек, - А дел у меня нет – я не деловой. Я как-то не вписался в Российский капитализм. Так сказать, остался на обочине прогресса.

- Так и скажите – лузер. Что Вы морщитесь, надо называть вещи своими именами?

- Да как-то здесь, среди этой торжественной красоты, жаргон новых деловых людей режет слух,

- Что, не нравится? А ведь Венеция – это родина капитализма

- Разве?

Вид у моего собеседника был несколько растерянный. «Что, получил, идеалист несчастный?» - с некоторым даже удовольствием подумал я и тут же, устыдившись своих мыслей, добавил вполне мирно:

- Да, у европейского капитализма два родителя – чума и Венеция.

- И кто же из них отец? – уже с улыбкой спросил человечек, неловко переступая и пытаясь приспособиться к моим шагам. Я поддержал его шутку:

- Отец – это неполиткорректно. Просто два родителя – родитель №1 и родитель №2.

Сияющий взгляд «Андрея Белого» на минуту затуманился:

- Когда сейчас бродишь по улочкам Венеции, невозможно в это поверить.

Мне стало даже немного жаль его и я сказал примирительно:

- Это все время – оно шлифует все неровности и лакирует все шероховатости. И вот уже глядишь, а на месте пошлой кучи зданий купеческого китча образовалась музыкальная гармония дивной архитектуры. И только такой поэт как Бродский может разглядеть в ней вульгарный чайный сервиз, стоящий на полке буфета. А мы, простые туристы, за этой ренессансной красотой уже не в силах угадать волчьего оскала родины капитализма.

- И все-таки то был не такой капитализм, как сегодня, - твердо заявил мой спутник.

- Почему Вы так думаете?

- Потому что сегодняшней капитализм не породит Ренессанса. Потому что сегодняшние нувориши не будут вкладывать деньги в великое искусство. Да оно им просто недоступно! Вы в телевизор иногда заглядываете? – вот эти пляски дикарей и есть нынешнее искусство. А архитектура? Неужели наши потомки будут с благоговением бродить вдоль трехметровых заборов Рублевки? Нет, что ни говорите, а капитализм – это не только деньги, но и люди, которые ими владеют...

- Или они людьми... – подхватил я.

- ... Вот Вы и определили это различие: тогда, в той Венеции люди владели деньгами, а сейчас деньги владеют людьми. Ведь это деньги построили бетонные джунгли Нью-Йорка, а Венецию явно строили люди и для людей. И заметьте, экспансия капитала тогда порождала новые провинции, которые становились подобиями Венеции. Тот же Дубровник, например. А современная экспансия капитала порождает те же уродливые Нью-Йорки – от Дубая, до Москва-Сити.

- Вы правы, империи существуют в головах, а не на картах мира

- Разве Венеция была империей? – искренне удивился мой собеседник.

- А как же? В том самом римском смысле «Пакс Романа». Империя – это мир в смысле безопасности, и в смысле целого света, потому что за пределами этого мира обитают только варвары. Любая империя мыслит себя целым миром. Это модель человечества, именно всего человечества. Поэтому империи и сталкиваются в войнах. Но все равно этих войн во много раз меньше, чем между отдельными племенами. Вспомните греческие полисы, которые воевали между собой непрерывно. Империя – это мир...

...Империя – это мир, - старик замолчал и несколько минут мы шли молча. Мне хотелось продолжения разговора и я возразил:

- Мир ценой подавления свободы?

Старик усмехнулся в бороду:

- А как же иначе, по-другому не бывает. Или свобода, или культура. Вы не слышали разве, что культура произрастает из запретов, из табу. Так вот и растет – запрет к запрету, обязанность к обязанности, да еще насильственное образование – детей лишают свободного детства. Так вот постепенно из дикарей и формируются люди, способные создавать и поддерживать эту красоту.

Он обвел рукой вокруг себя. Мы стояли на горбатом мостике, опираясь на перила и глядя как гондольеры пригибаются, чтобы проплыть под мостом. Я спросил:

- Вы полагаете, что империи – это теплицы, в которых созревает человечество?

Старик поднял палец и радостно улыбнулся мне:

- Вот! Прекрасное определение! Именно это я и полагаю. А стоит разбить эту теплицу, как благородные растения сразу погибнут, а выживут только сорняки. Как в рассказе Гаршина о пальме в теплице – помните?

Я кивнул, хотя Гаршина я не читал. Помню только, что он покончил с собой, бросившись в лестничный пролет. Ну да ладно. А старик, заметно воодушевившись, продолжал:

- И вот что заметьте, насчет свободы. В империи, даже если Вы живете в провинции, Вы все равно живете в культурном центре мира. А в свободном национальном государстве, даже если Вы живете в столице, Вы живете в безнадежной культурной провинции мира.

- Это как у Бродского: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в провинции у моря»?

- О, Бродский был человеком культуры и хорошо понимал, что такое империя.

- Вам не кажется странным, что мы все время возвращаемся к Бродскому в этом городе?

- Что же тут странного? Дух Бродского витает над Венецией. Вон оттуда, с Сан-Микеле, он и царит над русскими умами.

Старик показав рукой на полоску кладбищенской стены с черными силуэтами кипарисов, поднимающуюся прямо из моря. Мы стояли на набережной Фондаменте Нове, незаметно для себя пройдя весь остров с юга на север. Ветер гнал тучи и свинцовые волны от кладбищенского острова к нашим ногам и казалось, что эти волны медленно, сантиметр за сантиметром, поглощают город. Я задумчиво произнес:

- Венеция погружается в море... Как это у Пушкина: «Сулит мне горе грядущего волнуемое море»

Старик сразу отозвался своим блеющим тенорком:

- Венеции угрожает не море, а волны варваров, которые могут затопить эту красоту. Как у Набокова: «Геометрию их и Венецию их назовут шутством и обманом»

- Вы имеете в виду эмигрантов из Африки и Азии?

- Не только. Я имею в виду и внутренних варваров. Много ли людей среди людей?

- Думаю, что половина, - сказал я наугад.

- Вы идеалист. Дай Бог чтобы их было процентов десять.

- Ну, вы совсем уж мизантроп, - возмутился я, - Откуда эта цифра?

- Из статистики, - спокойно ответил старик, - Десять процентов – это количество чаще всего фигурирующее в оценке истинной приверженности определенным ценностям среди тех, кто заявляет о такой приверженности. Например приверженности какой-либо религии. Вот среди них верующих будет как раз десять процентов. Когда произошла в России февральская революция и стало необязательным ходить в церковь, то через месяц в действующей армии церковную службу стали посещать как раз десять процентов солдат – и это Православное воинство, заметьте! Остальным это было на самом деле безразлично. Это же показало разрушение церквей большевиками через десять лет – в массе своей этот православный народ был безразличен к происходящему. На самом деле культуре приверженна только элита... да и то не вся...

- Поэтому революции, совершающие смену элит, обязательно приводят к культурному регрессу? – продолжил я его мысль.

- Да, народ не делает различия между правящей элитой и ее культурой. Даже наоборот – культура ведь сразу бросается в глаза. Пугачевцы казнили всех образованных, очкастых и в немецком платье, как потом и Пол Пот в Камбодже. Любая революция означает мгновенную архаизацию общества: захват еды и самок новой элитой и насилие над всеми, кто этого не принимает. Это этологическая программа павианьего стада. Она всегда живет под тонкой коркой культуры, которая удерживается на поверхности социума только организованным насилием старой опытной элиты.

- Значит сохранение культуры требует консерватизма?

- Непременно! Недаром церковь молится о «властях и воинстве», независимо от того, какая власть – лишь бы не началась очередная смена элит. Чем дольше существует элита, тем культурнее она становится. И народ приобщается к этой культуре постепенно. Так и совершается воспитание человека. Ведь и остальная масса народа тоже втягивается в эту моду на культуру. Как в античных Афинах, например, или во Флоренции эпохи Возрождения. Вот тогда и только тогда совершается очеловечивание человека. Войны и революции отбрасывают человечество назад в животное состояние, к этологическим программам животных предков. Тогда-то и наступает «свобода»!

- В этом отношении Венеция – яркая иллюстрация Ваших слов: тысяча лет несменяемой элиты создала эту жемчужину человеческого духа...

- А сменил эту элиту Наполеон – порождение вавварской Французской революции.

- Но после этой революции все-таки возникла новая элита?

- «После того, не означает вследствие того», - хитро усмехнулся старик.

- Что Вы хотите этим сказать?

- То что культурные элиты в девятнадцатом веке сохранялись по инерции – это все пережитки прежней эпохи. А после Первой мировой войны эти элиты окончательно исчезли вместе с большой культурой, порожденной Ренессансом. Двадцатый век, век восставшей массы - вот истинное детище «Свободы, Равенства, Братства»: все дебилы похожи друг на друга, как родные братья, все они равны в своей животной сущности, все они свободны от культуры. Все это заполировала идеология политкорректности и вот мы оказались к началу двадцать первого века в глобальном недочеловейнике... Из которого нет выхода

- Нет выхода? – переспросил я.

- А Вы его видите? – ответил старик вопросом на вопрос.

- Главное, чтобы его видел Бог – только Он может сделать «бывшее небывшим», и наоборот.

- Вот я и говорю, что наша жизнь слишком коротка, чтобы заметить реальные тенденции в жизни человечества, – мы способны видеть только свершившееся, которое нам представляется незыблемым и поэтому безнадежным.

- Как Венеция, - отозвался я неожиданно для самого себя.

- Почему как Венеция? – спросил он.

- Потому что она незыблема и безнадежна...

- ...Но еще и прекрасна! Чего нельзя сказать о человечестве, - заключил старик. Я взглянул на него с иронией:

- Что я могу Вам сказать на это? Нет у меня для Вас другого человечества. Придется молиться за то, что есть, как молится церковь за существующую власть. Молиться и сеять вокруг себя семена культуры – авось дадут плод в очередную эпоху очеловечивания.

- А ведь Венеция для нас с Вами и есть памятник такой эпохи. Готов поспорить, что и Вы невольно ищите ее отражения в зеленом молоке и рыбьем жире Венецианских каналов...

- Наверное, Вы правы... «в зеленом молоке и рыбьем жире» - хорошо сказано! Я взглянул на старика – в его глазах блеснули слезы...

Я почувствовал на своих глазах влагу: набережная, лагуна и тонкая линия Сан-Микеле задрожали и потекли. Устыдившись своей чувствительности, я решительно смахнул слезу и повернул голову к своему спутнику:

- Что-то прохладно стало, не зайти ли нам куда-нибудь на чашку чаю?

- Пожалуй. Я тут видел по дроге тратторию – Он махнул рукой в ту сторону, откуда мы пришли, - Пойдемте, посидим в тепле.

Мы прошли метров сто по набережной, продуваемой порывами Борея, и зашли в маленькое заведение на четыре столика, где почему-то совсем не было посетителей. Мы спросили чаю, и хозяев, оценив нас сожаляющим взглядом, принес чайник кипятку и желтые пакетики Липтона. Мы опустили их в кипяток и стали ждать их превращения в чай. Мой собеседник усмехнулся:

- Сколько ни жди, а бумага в чай не превратится,

- Да, чего-чего, а чай здесь делать не умеют. Да Бог с ним, лишь бы горячий был.

Мы разлили чай по чашкам и с наслаждением начали согреваться горячей водой. «Андрей Белый» расслабленно улыбнулся и сказал:

- Ну вот, самое время поговорить о смысле жизни.

Я молча кивнул. Тогда он спросил:

- Может Вы знаете в чем смысл жизни?

- Знаю, конечно

- О, даже так! Может поделитесь?

- Могу и поделиться, но вряд ли Вам от этого станет легче?

- Почему?

- А потому что смысл человеческой жизни не может так уж сильно отличаться от самого человека, а сам человек – существо... весьма непривлекательное

- И все-таки?

- Ну, может быть так: смысл жизни в том, чтобы перестать искать людского оправдания своей жизни. Той самой любви, о которой говорят все философы. И тогда.., - я помолчал и сделал глоток чаю. Мой собеседник нетерпеливо спросил:

- Что же тогда?

- ... Тогда-то смысл и откроется. Его Пушкин еще сформулировал: «Я жить хочу, чтоб мыслить» и еще «Ты царь, живи один».
- И все? – удивлся «Андрей Белый»
- И все, - подтвердил я.
- ... Но у Пушкина сказано «чтоб мыслить и страдать»?
- Так ведь почему страдать-то? А именно потому, что еще жаждешь мнения толпы, а оно не совпадает с собственным представлением о себе. Любви народной жаждешь – вот что. Откажись от нее и сосредоточься на своем призвании. Слава Богу в нашем возрасте оно уже понятно нам. Вот и твори свою одинокую «молитву» кистью, пером, а главное – собственным мозгом, дабы миллионы лет эволюции прошедшие до тебя не превратились в бессмыслицу. Вот и появится смысл, да и не только твой собственный... Да и не только человеческий, а может быть и космический.
- «Андрей Белый» обдал меня своим сияющим взглядом:
- Это у Вас получается что-то вроде «антропного принципа» смысла жизни
- Именно, именно! Вы хорошо сказали – это и есть антропный принцип. Только обратный.
- Как это обратный? – не понял он.
- Ну, если антропный принцип говорит, что Космос такой какой он есть именно для того, чтобы в нем мог появиться человек со своим разумом. То обратный антропный принцип говорит, что смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы своей жизнью не обесмыслить существование Космоса.
- Вот как? – улыбнулся мой собеседник, - Получается, что Вы в поисках смысла жизни, совершили своеобразный «коперникианский переворот»
- Это как же? – не понял я его мысль. Он пояснил:
- Ну как это было в истории: смысл человеческой жизни вращался вокруг своей семьи, рода, племени, народа, цивилизации. Как у пчелы вокруг своего роя. И вдруг Вы отворачиваетесь от всего этого и говорите, что это Космос должен вращаться вокруг мыслящего человека.
- Да, и ключевое слово здесь «мыслящий». Потому что если заставить Космос вращаться вокруг просто человека, то Космос быстро превратится в помойку... Что мы и наблюдаем в масштабах пока что одной единственной планеты.
- Ха-ха, Ваш смысл жизни неотделим от Вашей мизантропии, - засмеялся мой собеседник.
- Увы, это так. Что поделаешь, если человеческая жизнь препятствует реализации предназначения человека.
- А что способствует этой реализации? – быстро спросил он.
- Красота! Красота, которая является инфраструктурой человечности.
- В каком смысле «инфраструктурой»? – не понял он.
- А в том же самом смысле, в каком инфраструктурой экономики являются дороги, транспорт, коммуникации всякого рода – только внутри этой инфраструктуры может развиваться производство товаров. Так и человек может сформироваться только внутри инфраструктуры красоты.
- А-а-а, понимаю, - протянул он задумчиво и снова одарил меня сияющим взглядом своих голубых глаз, - Так Венеция...
- ... да, Венеция – это наиболее совершенная инфраструктура для очеловечивания человека. Поэтому я и езжу сюда, чтобы снова и снова ощутить себя в своей тарелке.
- Ну, наверное не только Вы за этим сюда ездите – вон сколько желающих ощутить то же самое.
- Ошибаетесь! Вся эта толпа туристов ощущает совсем другое
- Что же именно?



- Потерянность, пустоту и раздражение. Недоумение своей жизнью на фоне этой красоты. Свою недочеловечность. Знаете, это как дырка в полупроводнике.

- Как это? – изумленно спросил он.

- Ну, в полупроводниках подвижными частицами являются электроны и дырки. Электрон – это частица, а дырка – это недочастица, это суммарное проявление кристаллической решетки, то есть окружения. Это окружение и есть инфраструктура, о которой мы говорили. Только в ней и возникает дырка как частица. Но дырка чувствует, что она все-таки не электрон, что она всего лишь дырка. Вот она и должна ощущать ту же пустоту и раздражение, что и нечеловеческие люди в этом месте красоты.

- Хм, да Вы батенька поэт! – улыбнулся «Андрей Белый».

- Ну да, ну да, поэт дырок, – буркнул я.

- Да нет, поэт электронов. Только электронов этих как-то мало вокруг, все больше дырки. А человек-то все-таки существо социальное. Ему главное, чтобы было с кем словом перекинуться – пусть хоть с дырками. А то будешь человеком да в одиночестве, разве это человеческая жизнь? Мизантропия хороша, как декларация, а жить в изоляции человеку невозможно.

Меня его слова задели за живое. Я вскинулся:

- А кто Вам сказал, что я живу в изоляции? С Вами-то мы беседуем. И при этом мне совершенно все равно, реальный Вы человек или только дырка этого божественного кристалла, имя которому Венеция. А в книгах с нами беседуют «те, кого уж нет, но чья для нас не умерла химера». И вместе с ними мы образуем то человечество, тот социум, которого нам не придется стыдиться ни перед Божьим судом, ни перед другими носителями разума в Космосе. На самом деле нас много, но мы рассеяны в веках и странах, поэтому кажется, что нас так мало. Особенно на фоне толпы тех, кто существует только здесь и сейчас. Или думает, что существует. А Венеция все-таки мешает им так думать. И это их раздражает, и они стараются отвлечься от этого, бегая по городу и музеям с путеводителем в руках, чтобы вычеркивая уже увиденные достопримечательности, постепенно вычеркнуть из своей памяти этот безжалостный к их ничтожеству город... Прекрасный город...

- Прекрасный город, - произнес я уже вслух. Меня тормозили чьи-то руки. Я поднял голову и увидел возле своего стула моих сыновей, которые пытались меня разбудить. Я сидел в кафе на набережной и передо мной все так же торчал карандаш колокольни Сан-Джорджо-Маджоре среди простора лагуны, все так же передо мной плясали гондолы, хлюпая бортами, а над ними носились чайки, поминая «мистера Марка». Оказывается я спал! Мои сыновья ходили фотографировать каналы, а меня оставили сидеть в этом кафе. И я заснул, убаюканный вечной колыбельной морских волн. А как же мой спутник? Он что, только привиделся мне во сне? Или может быть это я ему приснился? Или может быть мы оба встретились в общем сне – в сне этого вечного города, который сновидит сам Бог...

## ВСТРЕЧА ВТОРАЯ: КРИТ



Горячий ветер дул из Африки как вентилятор из духовки. Рубашка прилипла к спине, пот заливал глаза. Ливийское море, вдоль которого я шел, глухо ворковало о прохладе, но ничуть не охлаждало ветер. За несколько дней, которые уже я провел здесь, на юге Крита, глаза привыкли к голубому простору неба и гор и уже различали фиолетовый ультрамарин близких круч и парижскую синюю дальних вершин. Уставшие от солнца белые и черные скалы стекали к морю, остужая в нем свои обломки. Из ущелий выглядывали листья диких фигов и платанов, среди корней которых бежали удивительно чистые и холодные ручьи. Они текли в море прямо через асфальт дороги, поэтому дорогой ее можно было назвать лишь условно. И не только поэтому: асфальт угадывался только ближе к середине дороги, края же его были так потресканы и раскрошены, что не отличались от дикого берега. Обочина заросла высохшим бурьяном, который на солнце источал аромат дорогого европейского ресторана. Где-то в бурьяне оглушительно стрекотали цикады, перекрывая шум моря. Идти по этой дороге было довольно приятно, но как по ней можно ездить на автомобиле знали только критяне.

- Критянин Эпименид говорит, что все критяне лжецы, - услышал я вдруг громкий голос и вздрогнул. Прямо мне навстречу шел широко улыбаясь он. Я сразу узнал его даже в этом экзотическом наряде: на нем была широкополая войлочная шляпа, какие носят на Кавказе, легкомысленные цветастые багамы и такая же рубаха нараспашку. Он шел босиком. Судя по густому загару он тоже был здесь не первый день. Этот загар делал его голубые глаза еще более сияющими, а улыбку белозубой как у негра. Я был неприятно поражен этой встречей: «Как, и здесь на краю света, за которым живут только бармалеи, я снова обречен на болтовню соотечественника?» Как сумел, я изобразил на своем лице любезность и в тон ему ответил:

- А Вы ему не верьте – все равно обманет...

- А Вы ему не верьте – все равно обманет, - проворчал старик с кислой миной. Но я все равно был рад встретить его здесь. Мне почему-то казалось это естественным и даже неизбежным. Я протянул ему руку и он вяло ответил на мое рукопожатие. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приятное:

- Значит, не только Венеция? Здравствуйте!

- Конечно не только. Здравствуйте, - услышал я знакомый блеющий тенорок.

- И почему же Греция?

- Нужно ли спрашивать?

- Мне нужно. Мне интересно сравнить свои причины с Вашими.

- Раз Вы затеяли этот разговор, то и расскажите сначала о Ваших причинах.

- Хорошо, - улыбнулся я, - Моя причина одна – любовь к Греции.

Старик усмехнулся:

- Ну, любовь к Греции и у меня. Но что Вы вкладываете в это понятие: что такое Греция для Вас? Что Вы любите в Греции?

- Может Вас удивит мой ответ, но я люблю в Греции... себя.

- Bravo! – вдруг оживился и даже вдруг помолодел мой седобородый собеседник, - Вы не могли лучше сформулировать именно то, что и я чувствую. Именно себя в Греции! И каждый раз, приезжая сюда, я трепещу от предчувствия этой встречи с самим собой.

- Но почему это так, как Вы это можете объяснить? – поддержал я его оживление.

- Давайте присядем вот здесь в тени – объяснять придется долго. И не только мне.

Мы спустились к морю в маленький заливчик, которых здесь была целая цепочка, и уселись в тени скал и зарослей тростника, напоминавших наши отечественные камыши.

- Но начните Вы! – настоял я.

- Хорошо, я попробую... Вы читали философский трактат Андрея Склярова?

- Нет, хотя я слышал о нем – об Андрее Склярове, он историк по-моему?

- Он физик был, царствие ему небесное, но не об этом речь. Так вот в своем трактате он предложил очень интересную метафору личности: личность подобна черной дыре.

- То есть как это? – не понял я.

- Ну, Вы знаете наверное, что черная дыра отделяется от внешнего мира информационно, но внутри этой черной дыры может существовать целая иная Вселенная.

- Тогда это скорее модель безумия: внутри сумасшедшего тоже целый мир, но от внешнего мира он полностью закрыт.

- Очень точное замечание! – обрадовался старик, - Поэтому личность не вполне закрыта от мира – это что-то вроде черной дыры с тонкой нитью связи с миром.

- Как шарик на ниточке, - пошутил я.

- Вот-вот, что-то вроде шарика. А точнее – вроде глаза.

- Как это, глаза? – опять не понял я.

- Ну, глаз ведь это тоже почти замкнутая сфера с маленькой дырочкой зрачка, через которую он и получает информацию о внешнем мире. И если мы посмотрим на эволюцию глаза, то может быть что-нибудь поймем и в эволюции личности, - начал он читать мне лекцию по биологии, - Итак, глаз возникает у брюхоногих моллюсков как простое светочувствительное пятно. У Наутилуса глаз образован впячиванием светочувствительного эпителия и образованием сферы с маленьким отверстием – практически это камера-обскура. Ну а у осминогов глаз уже практически такой же как у человека – с линзой в этом отверстии.

- Ну, а при чем же здесь личность? – перебил я его неспешное повествование. Старик недовольно покосился на меня и так же неспешно пояснил:

- А при том, что большинство людей живет в этом мире с «глазом брюхоногого моллюска», то есть что попало в глаз, то и мое. Это можно назвать импринтингом, подражательным поведением, модой. Личности здесь нет и в помине. А вот когда образуется некое внутренне пространство «глаза», да еще с «фильтром в объективе», который пропускает только ту информацию, которая соответствует этому внутреннему пространству, вот тогда и появляется личность...

... Тут мой собеседник оживился, его глаза обдали меня голубым сиянием:

- Понимаю, понимаю: то есть личность существует внутри своего мира, а из внешнего мира воспринимает только то, что соответствует этому внутреннему миру. Тогда и получается, что приезжая в Грецию, я все равно остаюсь в своем внутреннем мире, который содержит в каком-то виде эту самую Грецию. Я правильно Вас понимаю?

- Совершенно верно. Тут ключевое слово «в каком-то виде». А в каком виде существует в Вас Греция? Что она для Вас? – спросил я его.

- Для меня? – он задумчиво посмотрел на море, - Наверное это тонкая книжечка греческих мифов, которой я зачитывался в детстве. А потом альбомы с фотографиями античных скульптур, репродукции картин художников Ренессанса на античные темы. Образ гармонии природы и культуры. Так, наверное, можно это описать. А для Вас?

Я тоже посмотрел на волны, с шипением убегающие от наших ног, и ответил правдиво:

- Практически то же самое, только место книжки мифов у меня занимал учебник истории Коровкина для пятого класса с его рисунками тех же скульптур и храмов. А еще «Таис Афинская» Ефремова. И та же гармония природы и культуры.

«Андрей Белый» - я мысленно снова стал так его называть – удовлетворенно улыбнулся и спросил:

- И как все это располагается в вашем «глазу личности», как Вы это себе представляете?

- А как свою комнату, все стены которой завешаны картинами греческих пейзажей: любой луч света, попадающий в зрачок этого глаза будет отражаться от одной картины к другой, высвечивая в моей памяти мою Грецию.

- Интересный образ... – протянул он задумчиво и повернул ко мне голову - Но я думаю, что и сам зрачок в этом глазу не просто дырка или линза, а как Вы сказали «фильтр». И фильтр этот называется искусство. Или шире – культура. Только такой фильтр, постепенно создающийся образованием, отбирает во внешнем мире те впечатления, которые и образуют внутренний мир личности.

- Ну да, демон Максвелла, - вставил я.

- Что? – не понял он.

- Я говорю фильтр этот действует как демон Максвелла, который уменьшает энтропию внутреннего пространства личности.

- Очень точный образ! – оживился мой собеседник, - Именно так: внутренний мир человека культуры обладает несравненно меньшей энтропией, чем внутренний мир человека толпы. Да у человека толпы и нет внутреннего мира: его мир – это тот же самый внешний мир, который непрерывно бомбардирует его светочувствительно пятно. Поэтому примитивный человек больше всего в жизни боится тишины и одиночества – он просто перестает существовать в тишине и одиночестве, потому что у него просто нет внутреннего пространства для существования.

Но тут я прервал его бурный монолог своим вопросом:

- И все же, для чего мы приезжаем в Грецию?

- Чтобы ощутить совпадение внешнего мира с миром внутренним, - попытался он выдать формулировку. Я усмехнулся:

- Чтобы перестать быть черной дырой? Перестать быть личностью? Превратить свою камеру-обскуру в светочувствительно пятно? Стать частью толпы?

«Андрей Белый» на минуту растерялся:

- Подождите, подождите. Эти Ваши метафоры и аналогии загоняют нас в тупик... Хотя нет, если подумать... Если подумать, то что такое совпадение внутреннего мира черной дыры с миром внешним? Это же рождение мира из черной дыры – Большой Взрыв, другими словами. А если снаружи меня окружает мой же внутренний мир, то зачем мне Ваша камера-обскура? Это и есть жизнь в истине. Помните как в Евангелии: «Я есмь истина и жизнь»? Вот это и есть такая ситуация. И она прочитывается всеми нашими чувствами, как счастье. Счастье – это и есть растворение внутреннего во внешнем тождественном.

Я с удовольствием посмотрел на него:

- Это Вы хорошо сказали. И хорошо объяснили... Да, я тоже именно так и чувствую себя в Греции – растворяю свое внутренне во внешнем тождественном.

Мы замолчали, слушая шум и шелест прибоя. Ветер обмахивал нас веерами листьев папируса. Здесь было не так жарко как на асфальтовой дороге и не хотелось никуда уходить из этого места. Непрерывная песня цикад создавала такое давление тишины, что даже шум моря не воспринимался как шум. Не хотелось нарушать эту тишину словами. Но мой собеседник все-таки нарушил ее. Не отводя взгляда от пены прибоя, он сказал:

- А знаете, а я предчувствовал, что мы с Вами встретимся. Ведь я прочитал Вашу философскую книгу...

... Старик сразу напрягся и настороженно произнес:

- Прочитал, и что?

Именно так, четко выделяя это «ч» в «что». Я понял, что это для него очень важно, и продолжил:

- И мне очень захотелось поговорить с Вами о форме: о форме вообще, о формах в природе, в искусстве. А где же это можно сделать лучше, чем здесь, в Греции?

- Пожалуй, Вы правы. Греция – это и есть наиболее совершенная форма человеческого существования, - сдержанно заметил он.

- Вот, вот, - подхватил я, - Но меня интересует вопрос соотношения формы и энергии. Я не совсем в этом разобрался: то мне кажется, что поддержание формы требует усилий, то наоборот, что бесформенность потребляет гораздо больше энергии. Как бы Вы ответили на этот вопрос?

Старик заметно оживился. Он весь повернулся в мою сторону и начал увлеченно говорить:

- Безусловно форма – это минимум энергии. Как кристалл. Форма – это своеобразная аскеза, ограничение энтропии. Как культура – это ситема запретов, табу. Свобода – это победа бесформенности, это количественное расширение, размножение этой бесформенности, и этот рост требует больших энергозатрат. Это и есть наша современная цивилизация – оплаченная огромной энергией экспансия бесформенности.

- Но почему же бесформенности? – возразил я, - Ведь и в современной цивилизации существуют какие-то формы жизни, формы вещей.

- А как они существуют? – взвился старик, - Они же непрерывно изменяются модой и рекламой, хотя и само изменение это циклично из-за неспособности придумать что-нибудь действительно новое. Тут есть своеобразный парадокс: для того, чтобы изобретать новые формы, нужно быть укорененным в старых формах.

- Почему? – не понял я.

- А потому что устойчивая форма должна быть гармонично устроена. А все традиционные формы, доставшиеся нам от прошлых веков именно таковы, потому что устойчивы.

- Что, новое это хорошо забытое старое?

- Нет, не в этом дело, - раздраженно протянул он, - Новая форма – это всегда конструкция из старых форм. Можно сказать, что это новое бытие старых форм. Поэтому если в обществе нет уважения к старым гармоническим формам природы и искусства, оно не может создать ничего по-настоящему нового. Оно просто количественно улучшает то, что уже есть. Ну вот например автомобиль – фундамент промышленности Запада: его форма практически не изменилась за сто лет, но улучшен он существенно. И на это затрачено море энергии.

- А в России автомобили делать так и не научились, зато ракеты и самолеты самые лучшие в мире, - вставил я.

- А почему? – снова воодушевился старик, - А потому что русская цивилизация ориентирована на форму, а не на улучшение условий существования бесформенности. И изобразительное искусство именно поэтому в России сохранилось, а во всем

остальном мире уже исчезло. А там, где ценится красота и гармония, там возможно создание новых гармонических форм. Вы же знаете, что в математике ценится красота решений, потому что она залог их правильности. И не случайно русские математики самые сильные в мире. И программисты: в программировании тоже есть красота и изящество форм, а на Западе победили «макаронные» программы, которые могут работать только в компьютерах со все возрастающим объемом памяти. И не так ли устроены все голливудские фильмы? Нищета форм сюжетов компенсируется размножением серий фильмов, пока зритель на них не заскучает окончательно. Это цивилизация количественного роста, но не цивилизация развития форм.

- Но какие-то формы там все-таки есть, если они размножаются? – не унимался я.

- Вот именно какие-то, - вздохнул старик, - А какие? Это обломки форм, оставшиеся от почившей в атеизме христианской цивилизации Запада. Почему я говорю об обломках? Потому что их существование уже не требует усилий человеческой жизни. А сам человек это такая форма, которая создается усилием воли и разума. Без этих усилий в нем работают только остатки старых животных программ, обслуживающие его питание и размножение. Вот это и есть общество потребления. Оно же общество бесформенности.

- А античная Греция была обществом формы? – вернулся я к нашей предыдущей теме.

- Безусловно! – воскликнул он, - Форма - это ее суть. В Греции все занимались созданием форм. Архитекторы, скульпторы – это понятно. Но и спортсмены создавали формы своего тела. Вся Греческая математика была геометрией, то есть изучением идеальных форм. Философы изучали формы природы. Вы знаете, например, в чем различие между эйдосами Платона и атомами Демокрита?

- В чем?

- А ни в чем, это одно и то же. Это уже в двадцатом веке физики навязали Демокриту свое понимание атома. А что такое логические парадоксы древних? – это ограничение логики, то есть логические формы. Те же формы. Всюду те же формы. А аскеза образа жизни, а формы управления полисом – это те же формы, которые требовали усилий человеческого существования. И человек античной Греции действительно существовал. Чего не скажешь о современном мире.

- Значит, по-Вашему, существуют люди формы и люди бесформенности... – начал было я, но он резко меня перебил:

- Нет, существуют только люди формы... и все остальные.

- О, так значит Ваша мизантропия тоже вытекает из Вашей философской морфологии? – поддел я его. Он не поддался на шутку и совершенно серьезно и даже почти печально ответил:

- Как и моя любовь к Греции вытекает из нее же...

... «Андрей Белый» замолчал, а я подумал, что может быть зря я так разошелся. Нужно ли это ему на самом деле? Может быть это просто способ провести время в умной болтовне. Я посмотрел на его сияющий взгляд, которым он мерял даль горизонта, и подумал: «Нет, ему это действительно нужно». В эту минуту он повернул голову в мою сторону, тихо улыбнулся и задумчиво произнес:

- Хорошо здесь... как в раю.

- А как в раю? – спросил я провокационно.

- Что? – перспросил он.

- Как Вы определите рай? Как должно быть в раю?

Он немного растерялся, потом ответил:

- Ну, я думаю, что в раю должно быть так, как должно быть (ударение на первом «о»), то есть не хочется там ничего переделывать или что-то изменять...

... Я взглянул на старика и понял, что снова задел его за живое.

- Вот тут я совершенно с Вами согласен! – воскликнул он, - Именно так. Рай – он как северный полюс: если захочешь пойти еще севернее, то неизбежно окажешься южнее. Или как вершина горы – выше не поднимешься, любое движение означает спуск. Поэтому сиди и не рыпайся, обратись мыслями к себе самому.

- Вы намекаете на главную интенцию греческой философии?

- Конечно! Что означает Сократовское «Познай самого себя»? Да и сам антропный принцип Демокрита о том же: «Все что мы знаем о мире, это то, что в нем есть человек». Значит обратись к себе, пойми себя, тогда и поймешь весь мир.

- А как же наука и логика Аристотеля? – попытался возразить я. Старик затряс бородой:

- Вот-вот, Вы верно назвали болевую точку греческой философии – это Аристотель. И не случайно именно он оказался отцом современной науки и создателем логики. Потому что и то и другое – это экспансия вовне: от человека в природу и от аксиомы к выводу. Он так задурил этим мозги своему ученику Александру, что тот всю свою жизнь превратил в одну непрерывную экспансию, на которой и надорвался. Александр как бы повторил судьбу первочеловека Адама: Адама соблазнил змей, а Бог изгнал его из рая, а Александра соблазнил Аристотель, и из рая Греции его изгнал собственный соблазн.

- Но разве до Аристотеля греческие философы не пользовались логикой? Тот же Сократ? – не унимался я. Старик нетерпеливо взмахнул рукой:

- Пользовались, но как и для чего? Сократ ловил собеседника в логические сети и приводил к парадоксу, к абсурду его намерения и суждения. И тем самым обращал его ум к его собственному существованию, к поиску ответа на вопрос «Кто ты, для чего ты живешь?». Так и хочется дополнить «в этом раю».

- Почему?

- Потому что «благими намерениями вымощена дорога в ад». По этой дороге и ушел ученик Аристотеля в Индию.

- А Птолемей, значит, по той же дороге прошел в обратном направлении? – заметил я лукаво. Но старик ответил серьезно:

- А что, пожалуй Вы правы. Птолемей понял, что не нужно ничего улучшать, что главное – это воспроизведение традиции. И выбрал себе в удел самую традиционалистскую страну мира – Египет. И там создал мировой центр философии, где мудрецы поворачивали мозги молодежи к экспансии внутрь себя, к постижению тех райских лекал бытия, которые Платон назвал идеями.

- И это тоже был рай? – улыбнулся я. Он тоже улыбнулся и ответил:

- Это был не просто рай, а единственный удавшийся в истории рай человеческого интеллекта, который просуществовал почти пол-тысячелетия...

- ... пока этот земной рай не разгромили христиане во имя рая небесного, - перебил я его. Он опять улыбнулся в бороду:

- А знаете, ведь как это ни покажется странным, но суть христианства тождественна традиции греческой философии, тому же Сократу, например. Потому что суть христианства состоит в покаянии, без чего не попадешь в рай. А покаяние – по-гречески метанойя – это передумывание себя, то есть то же самое сократическое «Познай самого себя». Недаром все отцы греческой церкви вышли из Платоновской академии. И продолжали бы выходить, если бы император Феодосий не закрыл ее.

- Так благочестие в очередной раз одержало победу над образованием, - заметил я с сарказмом. Он горько усмехнулся:

- Увы, это те грабли, с которых не сходит человечество на протяжении всей своей истории. И несмотря на это, все-таки дух платонизма пронизывает православную церковь до сих пор, в отличие от католического томизма, основанного на логике Аристотеля...

- ... и протестантского капитализма, кстати тоже: логика капитала та же – из вложенных денег должна следовать прибыль, и именно прибыль определяет направление экспансии человека, - подхватил я его мысль. Он тут же продолжил ее:

- И самого человека, кстати, тоже – вспомните тех же кальвинистов, у которых угодный Богу человек определяется успехом: богатый человек – праведный, а бедный человек – грешный. И никаких «передумываний» и никаких неразрешимых вопросов. Шагай себе и шагай прочь от Северного полюса, все дальше вверх по дороге, ведущей вниз к озеру Коцит...

Я решил подытожить сказанное:

- ...Получается, что Греция, приняв христианство, по сути своей не сильно изменилась. Поэтому греческий пейзаж с белыми колоннами языческого храма столь же гармоничен, как и греческий пейзаж с белой церковью на холме – рай остался раем...

- ...для тех, кто его еще способен увидеть – отозвался старик..

- А Вы видели его? – быстро спросил я.

- Однажды видел, - ответил он задумчиво.

- Где? – спросил я.

- Здесь же, в Греции, в Сивоте. Это было почти двадцать лет назад, когда я впервые приехал в Грецию. Я был потрясен красотой этого дикого места, бродил вдоль побережья и наткнулся на маленькую церквушку у самого моря. Дверь в нее не запиралась никогда, а внутри иконы в дорогих окладах, позолоченное паникадило, утварь разная золотом сверкает и поднос стоит с горой монет, и никого нет далеко вокруг. В церкви ладаном пахнет, свечи лежат горкой. Я поставил свечку у иконы, взглянул на поднос с деньгами и подумал: «Вот здесь красота победила главную силу ада – алчность». Я не представлял себе, что это возможно. Но вот я увидел, что действительно «врата ада не одолели ее». И тогда я понял, что нахожусь в земном раю. А потом...

- Что потом? – спросил я нетерпеливо, когда он ненадолго замолчал.

- ... потом лет через десять моя жена снова была в Сивоте и видела эту церквушку – на ее дверях уже висел замок. Видимо уже произошло грехопадение, и рай закрылся.

Деньги в этом мире сильнее рая, потому что обещают супер-рай, но всегда ведут в ад.

- Что же может спасти этот мир? – спросил я.

- Красота, - спокойно ответил он, - Только красота, как и говорил Достоевский.

- И это говорите Вы, который видел как сила ада побеждает красоту? – усмехнулся я.

- Ну а кто же это еще может сказать кроме нас с Вами, причем сказать от имени Платона и Гомера, Праксителя и Фидия и сказать именно здесь, на их родине?

Я рассмеялся:

- Да, больше некому, кроме двух старых русских чудаков, влюбленных в эту красоту... «... кроме двух старых чудаков... а почему двух? Кто же второй?» - я открыл глаза и нестерпимо яркое солнце сквозь веер узких листьев тростника ослепило меня на мгновение. Я зажмурился, потом снова открыл глаза и увидел море и заросли папируса среди нагромождения камней и скал. Волны ухали в скалах и шипели галькой пляжа в ритме гомеровского гексаметра. Папирус шептал свои древние тайны ветру. А я оказывается спал прямо на камнях, о чем мне сообщали отлеженные бока. Кроме меня и моря вокруг никого не было. Только я и Греция, только я и Крит...

### **ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ: ИМЕНИЕ**





Похоже, что зима в этом году так и не наступит. Снег едва прикрыл траву в саду. Резиновые сапоги оставляли на нем черные мокрые следы. Статуи стыдливо прикрылись с одного бока белой кисеей, но она таяла прямо на глазах, открывая взору их прекрасную наготу. В вершинах старых ясеней огромной пойманной рыбой бился южный ветер, стряхивая с деревьев сухие ветки. Я остановился возле корявой сливы, на которой висели три кормушки для птиц. Птиц было много: синицы и снегири казались созревшими на дереве лимонами и апельсинами. По какой-то только им ведомой очереди они слетали к кормушкам и, быстро схватив семечку, возвращались на свою ветку. Иногда прилетал большой дятел в красной шапочке. Он отгонял всех от кормушки и методично таскал семечки к стволу старой сливы, где засовывал их в трещины коры. Когда он улетал отдыхать, прилетал другой дятел с красным пятнышком под хвостом и начинал методично извлекать эти спрятанные семечки из трещин и поедать их. «Все как у людей – кто не работает, тот ест», - подумал я и медленно вернулся в дом.

Дрова в камине уже прогорели, и я подкинул новый брикет из опилок. Огонь ожил и радостно заплясал за стеклом. Я налил себе чаю, сел в кресло у камина и вытянул ноги к самому огню. Ничто так не вычищает сознание, как созерцание огня. И время при этом идет медленнее. Я много раз замечал, что на часах проходит в два раза больше времени, когда смотришь на огонь. Я задумался, глядя на пламя, потом повернул голову к рядом стоящему креслу и увидел его. Я сразу узнал своего гостя и вспомнил строки Мандельштама об Андрее Белом: «Голубые глаза и горячая лобная кость». Очень похож!

- Не ждали? – с улыбкой спросил он.

- А Вы что, телеграмму присылали, что ли? – не очень приветливо отозвался я.

- Нет, я думал Вы уже привыкли к моим внезапным визитам.

- Чего там привыкать – дело житейское: заснул вот Вы и приснились.

Он засмеялся и довольно фамильярно спросил:

- А нельзя ли в таком случае приснить и мне стаканчик чаю?

- Извольте, - сказал я и пошел включить чайник. Чайник зашумел, я достал из стенового шкафчика второй стакан в подстаканнике и налил в него заварки. Потом посмотрел на гостя – он сидел спиной ко мне, уставившись в камин немигающим взглядом. «А что если сейчас трахнуть его бутылкой по голове? Что тогда будет? Либо я проснусь, либо...», - тут он оборвал ход моей мысли:

- Не вздумайте проломить мне голову бутылкой, как Штирлиц несчастному Холтофу.

- Вы что и мысли читаете?

- Это не сложно – уж больно зверское выражение было на Вашем лице, когда Вы отправились делать мне чай. Я подал ему стакан. Он отхлебнул с явным наслаждением и выдохнул:

- Ох, хорошо-о, горячий...

Я занял свое место в кресле и решительно обратился к гостю:

- И все-таки я уверен, что Вы мне снитесь...

- ...Так же как и я уверен, что это Вы мне снитесь, - бесцеремонно перебил он меня.

- Но если действительно допустить такое, то тогда чем такой сон отличается от яви?

- Пожалуй только тем, что он длится значительно меньше, чем явь.

- А почему?

- Да потому, что этот сон сновидим мы с Вами, а явь сновидит тот, кто неизмеримо могущественнее нас.

- Сон Браммы?

Гость улыбнулся:

- Что-то вроде того...

... Старик в своей расшитой бисером ермолке выглядел как растерянный фарисей, который никак не может найти нужной цитаты из Священного Писания. Он раздраженно пожевал губами и спросил:

- Как Вы думаете, для чего нам даны сновидения?

- Не для чего, а почему, - уточнил я.

- И почему же? – уточнил он.

- Потому что нам дан божественный разум. По образу и подобию, так сказать. А сновидение – это его свойство. Можно его назвать способностью к миротворению.

Старик не унимался:

- Ну, предположим, что я миротворю этот сон, а Вы-то в нем откуда взялись? Или Вы просто часть того мира, который я сотворил?

- А Вы часть мира, который сотворил я, так что ли?

Старик затряс бородой:

- Нет, я это я, а вот Вы кто такой?

Я парировал:

- Нет, это я есть я, а вот Вы – под вопросом.

Старик взорвался:

- Под каким вопросом? Вы шпионите, что ли в моих снах?

- А Вы в моих, - невозмутимо ответил я, - Я думаю, что реальность сновидения подобна саду ветвящихся троп у Борхеса. И я думаю, что эти ветви иногда пересекаются и сливаются друг с другом, чтобы потом опять разветвиться.

- И мы с Вами сейчас присутствуем в такой слипшейся ветви? – недоверчиво спросил он.

- А почему бы и нет? – улыбнулся я.

- Хм... Не могу сказать, чтобы мне это сильно нравилось, - проворчал старик.

- Почему?

- Мне хватает того, что наяву в мою жизнь лезут все кому не лень – через телевизор, через интернет, через телефон. А теперь что получается, что и в мой сон может влезть кто захочет. Что же останется от пространства моей личности?

- Все там будем – примирительно заметил я, - грядет всеобщий человек, антиутопия тотального контроля мозгов.

- Скажите, а послать Вас куда подальше возможно? – спросил он с плохо скрываемым раздражением.

- Отчего же нет? Проснитесь и все. Вы, кстати, можете определить по каким-либо признакам, что находитесь в сновидении?

Старик задумался и оживился:

- Да, есть у меня один такой признак, - не могу включить свет, все выключатели не работают. Тогда я понимаю, что это мне только снится. А почему Вы спрашиваете?

- Я подумал, что если в сновидении существуют инварианты вроде Вашего неработающего выключателя, то нельзя ли их отождествить с инвариантами в реальном мире?

- Это что же, нечто вроде законов сохранения в физике мира сновидения? – старик явно заинтересовался моей гипотезой.

- Именно так! – поддержал я его интерес, - Я вообще думаю, что в реальном мире гораздо больше организмов, чем механизмов. И сон этих организмов порождает инварианты, которые мы называем законами сохранения.

Он саркастически усмехнулся:

- Ну да, сон летящего камня порождает первый закон Ньютона, а сон летящей планеты – законы Кеплера? Так что ли? По-моему это бред – воистину сон разума порождает чудовищ.

- Ну и почему бы не назвать этих чудовищ законами сохранения мира сновидения, если сам мир есть всего лишь сон Браммы? – настаивал я.

- И тогда сонники можно переименовать в учебники физики снов! Воля Ваша, но что-то Вы не то несете.

- А Вы щелкните выключателем и все это кончится, быть может. Не хотите проверить сон это или физика?

Старик помолчал и мрачно ответил:

- Не хочу.

- Почему?

- Хочу закончить эту беседу с Вами чем-нибудь толковым.

- Ну, давайте попробуем. Итак?

Старик уперся ладонями в колени и решительно спросил:

- Итак: а почему они спят, если действительно кругом одни организмы?

- А почему Брама спит? – ответил я вопросом на вопрос.

- То есть Вы хотите сказать, что все сущее сделано по образу и подобию Создателя?

- Именно так. А сон – это состояние творчества Творца. Когда Творец спит, тогда его создания существуют в реальности.

- А когда Он проснется? – быстро спросил он.

- Тогда вся эта реальность кончится.

- Конец Света? – уточнил он.

- Именно.

- А потом? – он хитро взглянул на меня из-под бровей.

- А потом Творец снова заснет и возникнет новый мир его сна. И в этом мире будут обитать иные организмы и в их существовании будут новые инварианты, которые мы обычно называем законами природы.

- То есть в новом мире новые физические константы, - уточнил старик, - И они будут определять тех существ, которые могут существовать в этом мире. Это своеобразный антропный принцип, не так ли?

- Да, только может быть там он будет не совсем антропным, а может быть и совсем не антропным, - уточнил я.

- Ну а эти Ваши организмы, они-то почему спят? – снова хитрый прищур бровей.

- Потому что их пробуждение означает катастрофу, вроде взрыва сверхновой в жизни звезды или радиоактивного распада атома в жизни атома. Вообще любого взрыва –

взрыв это и есть пробуждение. Точка бифуркации, состояние хаоса и неопределенности, в котором трудно определить какие-либо инварианты: при пробуждении старые законы сохранения перестают работать, а новые начнут работать после прохождения этой неустойчивости – в новом сновидении организма. И в этом сновидении он снова будет выглядеть механизмом и его можно будет изучать с точки зрения физики.

В глазах старика блеснули искры интереса:

- Интересно... – протянул он задумчиво, - А что будет, когда этот Ваш организм умрет? Он же не бессмертный, в отличие от Вашего Браммы?

- А когда он умрет, от него останутся только сновидения в чужих сновидениях – в переплетениях ветвей сада снов Борхеса. Вы ведь встречаете в своих снах Ваших умерших близких?

- Да, и очень часто. Чаше, чем Вас... погодите, погодите, а Вы-то сам что, тоже...  
... Мой гость одарил меня долгим взглядом своих сияющих голубых глаз и тихо произнес:

- Ну что уж тут скрывать, и я тоже.

- Кто Вы? Я хочу сказать, кем Вы были в жизни? – спросил я растерянно.

- А Вы уже называли меня, и много раз, - спокойно ответил он.

- Так Вы действительно Андрей Белый? – я был поражен.

- Нет конечно, в действительности я Борис Бугаев, как Вам наверное известно, - улыбнулся он.

- Да, да, конечно... Но почему, почему ко мне? Я хочу сказать, почему Ваше сновидение сплелось именно с моим, я же вас не знал лично, в отличие от моих близких и родных?

- Вы так думаете? – он пристально посмотрел на меня.

- А как же... – совсем растерялся я.

- Просто я знал Вас, и знал очень близко в той, прошлой жизни, в которой Вас звали «Нос в кудряшках». И были Вы похожи на Гоголя, когда скрюченной фигуркой утопали в кресле, откуда спадающим лепетом вещали мне о нарастании в двадцатом веке египетских смыслов. Тогда хотелось зарисовать Вас египетским контуром и около Ваших ног пририсовать крокодила...

- Вы имеете в виду Флоренского? – как громом поразила меня догадка.

- Узнали? И я Вас сразу узнал там, в Венеции, - нос тот же, да и голос...

Я нервно перебил его:

- ... И все-таки это так странно, хотя я всегда чувствовал Флоренского как свое второе я. Когда я читал его работы, мне всегда казалось, что это написано мною, и я просто вспоминаю эти формулировки. Но реинкарнация? Неужели Тертуллиан и александрийцы были правы и души снова воплощаются после смерти?

Его губы чуть скривила саркастическая улыбка:

- Ну, если бы он был прав, то зачем бы мне было посещать Ваши сны инкогнито?

- Тогда как же, как же все на самом деле? – воскликнул я почти умоляюще.

- Как, как? – передразнил он, - Неужели Вы еще думаете, что все на свете можно объяснить?

- А неужели нельзя?

... – Неужели нельзя? – произнес я и услышал сам себя. Я открыл глаза и взглянул на кресло, в котором сидел мой гость. Как и следовало ожидать, оно было пусто. На кухонном столе возле него стоял недопитый стакан чая в подстаканнике. Огонь в камине совсем погас, только пылающие жаром угли подмигивали мне красными от бессонницы глазами. Я встал и потрогал стакан чая на кухонном столе – он был еще теплый...

## ВСТРЕЧА ЧЕТВЕРТАЯ: МОСТ ПОНТЕ ВЕККЬО



Помните начало «Соляриса» Тарковского: текущая вода и зеленая грива водорослей, волнуемая течением, и орган звучит. Правда может быть орган звучал в другом эпизоде, я точно не помню. Но сейчас он звучал в моей голове, когда я, свесившись через перила моста Понте Веккьо, наблюдал, как зеленоватые струи Арно заплетают косы водорослей. Вот откуда эти водные локоны и кудри на рисунках Леонардо! А ведь именно по этому мосту спешил он мальчишкой в мастерскую Верроккьо и тоже смотрел отсюда на струи Арно. По этому мосту проходил Данте к церкви Санта Маргарита де Черчи, чтобы увидеть там свою Беатриче. На этом мосту можно было встретить и Микеланджело, и Макиавелли, и Боттичелли. Но вот кого я совсем не ожидал увидеть здесь, повернув голову на голос за моей спиной, так это Григория Сковороду.

Я сразу его узнал: он был молод, пригож собою, стрижен под горшок и улыбался. Была в его лице какая-то смугло-прищуренная тень, которая хранила это лицо от пошлой красоты украинского парубка. «Ну да, - вспомнил я, - он же потомок крымских Гиреев по матери». Итак я услышал над собой:

- Не делайте этого, сударь, прошу Вас!

Я распрямился и, облокотясь на перила моста, ответил ему:

- Это не то, что Вы подумали, сударь. Я просто смотрел на струи воды.

- Вы художник?

- Отчасти. Но в основном философ.

- О, какая неожиданность встретить русского философа здесь, во Флоренции!

- Взаимно! Вы ведь тоже философ?

- Да, странствующий философ и грамматик из Харьковского коллегиума.

- А я уже не странствующий философ из Харьковского университета.

- Это да! Где Харьков, а где мы. Отчего так, сударь?

- Оттого, что такая история у нашего с Вами отчества: лес рубят – щепки летят, вот мы с Вами и есть эти самые щепки. Вся Европа ими усеяна.

- И оттого Вы философ?

- И от этого тоже – помогает жить.

- Понимаю...

Мы облокотились на перила моста и молча стали смотреть на течение реки.

Странствующий философ время от времени плевал в воду и внимательно смотрел, как его плевки, подсакивая и кружась, увлекаются потоком реки. Я вспомнил, как Д`Артаньян выбирал себе слугу и выбрал того, кто плевал с моста и наблюдал за своими плевками, - это был признак ума и сообразительности. «Н-да, ума и сообразительности... отчего тогда я не плюю с моста?» Скворода прервал мои размышления:

- Могу ли спросить Вас, сударь, о чем Вы думаете, глядя на воду?

- О снах.

- О снах? А что именно, позвольте Вас спросить?

- Один философ сказал мне, что все в этом мире живое. Все, что вокруг нас – это живые организмы, но они спят и видят сны. И в этих снах они представляются нам неживыми, и мы изучаем неживые законы этого мира и называем это физикой. Но когда они проснутся, вся физика кончится, - все вокруг станет одной сплошной биологией. А может и психологией. Как Вам такая философия, сударь?

- Это же Монадология Лейбница.

- Что, Монадология?

- Ну да. Лейбниц, знатнейшего ума муж наделил атомы собственной внутренней жизнью, собственной душой, которая, однако, никак не проявляется вовне, ибо по его словам, монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти. Поэтому монады и выглядят в нашем мире как атомы Демокрита. Но на самом деле, согласно Лейбницу, не существует совершенно неодушевленной природы. Лейбниц говорит, что монады, которые основывают явления неодушевленной природы, на самом деле находятся в состоянии глубокого сна. Жизнь появляется тогда, когда атомы пробуждаются. Из таких пробудившихся атомов состоят живые существа. Души этих монад тоже объединяются и образуют душу животного или человека. Разум человека – это тоже такая объединенная монада. И разумные души монад представляют собой отображение самого Творца. Только большинство монад в нашем мире это спящие монады.

- Замечательно! Это именно то, о чем я думал! Благодарю Вас за эту ссылку, Вы очень начитаны, сударь.

- Нет, это я знаю не из чтения – это мне рассказал один падре из Рагузы, с которым я встретился именно на этом самом мосту, когда, будучи студентом, путешествовал по Италии. Руджер Бошкович его звали – слышали может быть о таком?

- О, да конечно, это большой ум!

Вдруг за нашими спинами раздался надтреснутый старческий голос:

- Прошу прощения, почтенные синьоры! Я оказался невольным слушателем Вашей ученой беседы и хотел бы принять в ней участие, если вы позволите.

Я оглянулся и увидел высокого старика в синем с золотом плаще и в такой же расшитой золотом шапочке. Это был еще крепкий старик с лицом, утонченным мыслью и отшлифованным временем подобно темному полированному дереву. В Греции таких стариков называют «кала герон» - прекрасный старец. Держался он прямо, но глубокие морщины на лице выдавали его возраст – ему было не меньше восьмидесяти. «Плифон, - мелькнуло у меня в голове, - Откуда ему здесь взяться? Ах да, он же тоже жил во Флоренции во время Вселенского Собора». Между тем старик продолжал, как если бы уже получил от нас приглашение к разговору:

- Почтенные синьоры философы? Откуда?

Я ответил за обоих:

- Из России. Синьор Скворода первый русский философ, а я – последний.

- В России что, всего два философа? – с усмешкой спросил старик.

- Не наглей, дедушка! – услышал я язык харьковских подворотен с сильным фрикативным «г». Я взял Сковороду за руку:

- Григорий, вы не в курсе, ведите себя прилично!

Потом, обратился к Плифону с подчеркнутой вежливостью:

- Разве в Греции было всего два философа, если первого звали Платон, а последнего Плифон?

- Да, да, конечно, я сказал глупость, прошу прощения, синьоры! – старик учтиво раскланялся, - А теперь позвольте мне обратить ваше внимание на то, что ваши монады практически не отличаются от эйдосов божественного Платона.

- Но если это действительно так, уважаемый Плифон, то эйдосы Платона тоже должны быть погружены в сон? – заметил я. Старик заметно оживился:

- Именно так и считал великий Платон! Платон называл сны «малыми эйдосами», с помощью которых человек восходит к великим эйдосам вечности. Еще Пиндар говорил, что образ вечности пробуждается во время сна человека, но этот образ спит, когда человек бодрствует.

- А когда он умрет? – спросил Сковорода.

- Тем более, когда он умрет, - радостно подтвердил старик, - видения грядущего посмертного существования оказываются сновидениями, в которых живет образ вечности.

- То есть, сны – это тени эйдосов, а посмертные видения – это сами эйдосы, - так что ли? – снова спросил Сковорода.

- Именно так, - подтвердил Плифон.

- А жизнь тогда что такое? – спросил я.

- А жизнь – это сон или смерть эйдосов. Поэтому Платон и говорит в «Федоне» устами Сократа, что философы, взыскующие истины, заняты ничем другим, как умиранием и смертью, - почти торжественно произнес Плифон.

- Некрофилия какая-то получается, - резко сказал Сковорода. Старик метнул в него осуждающий взгляд из-под седых бровей. А я в это время заметил, что по мосту со стороны галереи Уффици к нам направляются две фигуры – могучий старик в хитоне и совершенно голая молодая женщина. Старик держал свою руку на ее бедре. Мои собеседники тоже заметили их и замолчали, зачарованно глядя на приближающуюся пару. Я почему-то сразу догадался, что это Платон со своей подругой гетерой Археанассой. Платон, глядя на нас, улыбался в бороду, а мы молча следили глазами за колыханием ее груди и движением ее бедер. Поравнявшись с нами, она обдала нас густым запахом молодого женского тела и еще каких-то трав вроде лаванды, полыни и шалфея. Сковорода вдохнул этот запах и забыл дышать. Платон слегка наклонил голову к своей спутнице и довольно громко сказал:

- Не обращай внимания, Архе, это всего лишь философы.

- Бедненькие, - отозвалась гетера

- Тебе их жалко?

- Мне всегда жалко одиноких мужчин.

- Не стоит их жалеть, дорогая, - каждый в этой жизни получает по заслугам.

- Что же они заслужили? – спросила она, подняв к нему голову.

- Вечное блуждание в поисках мудрости, - ответил Платон.

- И когда же они ее найдут?

- Никогда, моя радость.

- Почему? – опечаленно спросила она.

- Потому что иначе бы не я, а они держали свою руку на твоей божественной ягодице. Они уже удалялись от нас, поэтому мы могли видеть эти самые ягодицы, на которых покоилась рука божественного Платона. Первым нарушил молчание Плифон:

- Коллеги, теперь мне кажется, что я не понял чего-то важного в учении божественного Платона?

Ему никто не ответил – все не отрываясь смотрели на движение удаляющихся ягодиц гетеры. И все понимали, что эти ягодицы как-то неразрывно связаны с истиной, но как именно, никто из нас не мог себе представить. Сковорода вспомнил о дыхании и тихо выдохнул:

- Какая по... монада.

-Мона-да-а-а, Мона-Лиза, Лизанька, - эхом прокатилось в моей голове. Но оказывается не только в голове.

- Какая Лизанька? Тебе что, старый бабник, опять Елизавета Боярская приснилась? – я открыл глаза и увидел склоненную надо мной голову жены. Она саркастически улыбалась, а в глазах ее светилась любовь. И в это мгновение я понял что-то важное в учении божественного Платона...

### ВСТРЕЧА ПЯТАЯ: НЕВСТРЕЧА



... Украинское село замерло в тишине июльского зноя. Даже птицы затихли. Только мухи и пчелы жужжат на сладких гниющих ягодах желтой черешни, валяющихся вокруг ржавой кровати, на которой валяюсь я – нежный, полноватый мальчик с выгоревшими на солнце волосами и задумчивыми карими глазами с огромными загнутыми ресницами, гарантирующими успех у женского пола на всю оставшуюся жизнь. Между спинками кровати натянуты бельевые веревки, а на них накинута простыня, края которой лениво шевелятся теплым ветерком. Это уже не кровать, а палатка, в которой я читаю книгу – «Петра Первого». И поэтому это уже и не простыня, а край паруса корабля, который привез русское посольство в Стамбул: запахи лимонов, лавра и роз, которые доносит соленый бриз на корабль смешиваются с запахами бабушкиных пионов в палисаднике.

Мне одиннадцать лет и я живу в раю. Я не догадываюсь об этом, потому что я в нем родился и не видел земной юдоли. Я заключен в любовь моих близких, как жук в толщу янтаря. Здесь, в украинском селе, мой рай охраняют и обеспечивают два ангела – моя бабушка и мой дедушка. Они всю жизнь прожили в аду голода, беженства, концлагерей и знают, что теперь они создают рай своими руками и своей жизнью на пенсию в



двадцать четыре рубля в месяц, которую получает бабушка. А бабушка не заработала пенсии – она всю жизнь работала «у людей» - за это пенсия не полагается. Как можно прожить на двадцать четыре рубля вдвоем? Понять это невозможно, но такие вопросы меня не волнуют: я знаю, что бабушка вовремя позовет меня обедать, и на столе будет окрошка или борщ, свежайший кролик в сметане, салат из гигантских помидоров «Бычьё сердце», вишневый компот в течение всего дня, а вечером будет молоко с воздушными пирогами с вишней или блинчики с вишневым вареньем. Все свое – это же рай. И я, как Адам до грехопадения, обладаю каким-то совершенно чудовищным бесстыдством, с которым на бабушкины призывы собирать крыжовник или рвать вишни отвечаю: «Я ленюсь». И меня любят, и я знаю, что меня будут любить всегда, что бы я ни сделал, что бы я ни сказал. Поэтому я валяюсь в своей палатке-корабле и читаю книги. Все подряд. Особенно я люблю читать старую с пожелтевшими страницами и без обложки книгу рассказов Чехова, которую нашел на чердаке в старом чемодане. Мне кажется, что Чехов писал свои рассказы именно для этого дома и этого сада – в другом месте они не могут так отзываться в душе. А по вечерам мы с бабушкой играем в дурака на свежем воздухе под стрекот кузнечиков и запах ночной фиалки. А потом, после теплого молока с блинчиками или жареной картошки с яичницей, будет сон, который утром взорвется солнцем и птичьим щебетом нового райского дня.

Такого как сегодняшней день. Я конечно съезжу в магазин на велосипеде за молоком, сахаром и хлебом, но не сейчас – позже, когда жара немного спадет. А сейчас даже не хочется выходить на улицу, где мягкая почти белая пыль обжигает босые ноги. А когда по улице проезжает грузовик, она стеной идет на наш сад, постепенно оседая на уже седых от пыли вишнях и сливах. Вот и сейчас прогромыхла машина за забором, пыль взметнулась до неба. Я поднял глаза от книги и увидел как из облака пыли проявляется фигура бородатого старика в странной белой шапочке с длинным козырьком. Он стоял за забором и внимательно смотрел на меня сквозь широкие щели между досками. Я тоже не отводил от него глаз. Он показался мне чем-то знакомым. Тут я подумал: «А вдруг это я сам в старости и оказался здесь, чтобы встретиться с самим собой». Мысль эта показалась мне такой забавной, что я улыбнулся. Старик переждал пока осядет пыль и пошел своей дорогой. Я еще некоторое время видел его в щели забора, потом он скрылся за поворотом. Я снова погрузился в книгу и забыл об этом эпизоде, как мне казалось, навсегда...

...Протяжный скрип разрезал тишину ночного дома. Сон слетел мгновенно. Я включил ночник и оглядел комнату – оказывается дверца стенового шкафа открылась. Я встал и закрыл ее. На часах была глубокая ночь. В камине еще краснели и ежились угли. Я снова лег и попытался уснуть, но сон ушел. «Что теперь лежать и пялиться в потолок? Может камин разжечь, пока угли совсем не погасли?» Я встал и развел огонь. Потом вскипятил воду, налил себе чаю, сел в кресло перед камином и задумался: «... Бессонница – квинтэссенция одиночества, утрата последней надежды на встречу с другим. Поэтому на самом деле не сон напоминает о смерти, а бессонница. Она находится и вне сна и вне бодрствования – это щель бытия, в которую проваливается человеческая жизнь. И только из этой щели можно увидеть, что мир состоит из двух слоев и свернут в свиток, как бисквитный рулет с вареньем: тесто – это реальность бодрствования, а варенье – реальность сновидения», - я отхлебнул чаю и сразу вспомнил: «Это увидел еще Иоанн Богослов и описал в своем Откровении как «свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями». У славянских язычников это «явь» и «навь», у индейских шаманов – «тональ» и «нагваль», а у меня – это физика и литература. Да, да! Физика завернута в литературу и по-другому она просто непредставима для человека. Как это сказал Ландау: «Сегодня мы можем понять даже

то, что не в силах себе представить», - я снова отхлебнул чаю, - «Это понимали еще создатели Каббалы, когда провозгласили, что божественный алфавит составляет сущность реальности. Бог произносит буквы и слова на одной стороне свитка, а на другой его стороне в это время совершаются события физического мира. Об этом сказано в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». – Да, но после Борхеса стало понятно, что это не просто буквы или слова, - это бесконечная библиотека текстов, в каждом из которых цитируются все остальные тексты библиотеки. Эта «Вавилонская библиотека» образует вечный слой литературы, в который погружен физический мир времени. Каждое слово или текст, который вытягивает за собой это слово, образует судьбу или роман жизни того, кого оно именуется. И этот роман разворачивается во времени физического мира от своего начала до своего конца, которые уже существуют в слое литературы одновременно. Так сакральное Слово оборачивается профанной судьбой. А из брэнного мира можно увидеть обратную сторону свитка через Символ: это доступно только тому, для кого огонь – это Огонь, дерево – это Дерево, лес – это Лес, море – это Море, а Космос – это тело Бога. Обыденные слова, обрящаясь в символы, становятся молитвой Богу. И эта молитва непременно что-то меняет в слове или романе судьбы, оборачиваясь в материальном мире новой траекторией времени жизни. Так совершается связь непересекающихся реальностей физики и литературы, бодрствования и сна», - я подкинул в камин новый брикет и огонь запылал с новой силой, - «Но не только так! Если свиток это двухслойный рулет, то любая наша попытка заглянуть в прошлое или в будущее во времени непременно затронет и слой литературы – ведь прошлое и будущее в рулете находятся рядом, но отделены от настоящего слоем литературы, который мы чаще всего называем мифом. Мы обречены мифологизировать наше прошлое и будущее: мы думаем, что пишем историю, а на самом деле создаем миф. Мы думаем, что строим футурологическую теорию, а на самом деле пишем фантастику. Но это не значит, что эти мифы и фантастические романы не влияют на реальное прошлое и будущее – отнюдь! Настоящая литература находит отклик в «Вавилонской библиотеке» на обратной стороне свитка реальности, она становится частью этой библиотеки, занимая свое место на ее полках и стеллажах. И оттуда начинает определять события нашей стороны свитка, и те что были, и те, которым еще только предстоит совершиться. Так замыкается круг, в котором Бог оказывается читателем наших литературных произведений, а прочитанные им романы становятся судьбами людей, народов и самих писателей...»

... Расхлябанный грузовик, поднимая тучи пыли, с грохотом обогнал меня. Я остановился, зажмурившись и пережидая, когда осядет пыль. Когда я открыл глаза, я увидел, что стою возле штaketника, сделанного из обрезков досок, называемых горбылем. Через большие щели забора был виден небольшой яблоневый и вишневый сад, в глубине которого прятался маленький голубой домик в два окна, крытый бесцветным шифером. Возле домика под старой черешней стояла ржавая кровать с натянутой между спинками простыней. На кровати полулежал белобрысый мальчик лет десяти. Видимо он читал книгу, но отвлекся от чтения и внимательно смотрел на меня. Я тоже не мог оторваться от его лица, которое казалось мне очень знакомым. Где-то я его уже видел, но где? И вдруг меня пронзило узнавание – я вспомнил этот день: «Неужели это я? Неужели это конец моей... моего романа? Нет, нет, не хочу!», - я отвернулся от мальчика и решительно зашагал вниз по улице туда, где в облаке пыли скрылся проехавший грузовик...

## ВСТРЕЧА ШЕСТАЯ: РАЙ



Я знаю как выглядит рай – я видел его во сне. Может быть это был и не человеческий рай, а место посмертного существования деревьев, но именно там я был, а точнее, бывал счастлив, потому что место это я довольно часто посещаю во сне. Там все деревья такие огромные, как тысячетлетние секвойи в Калифорнии. Видимо именно такой является идея дерева, а здесь, в миру, ей просто не дают вполне осуществиться. И вот я такой маленький брожу среди этих дубов, платанов, сосен и елей вдоль чистых ручьев, укрывшихся в зарослях папоротника. Я люблюсь этими гигантами и от этого совершенно счастлив. Как князь Мышкин, который говорил: «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» А потом вдруг оказываюсь на вырубке среди гигантских пней и душа моя скорбит и обливается слезами. Видимо это ад деревьев, а я, слившись душой с их раем, невыносимо страдаю в этом аду. Совсем как на земле, когда вижу, как на моих глазах исчезают вековые деревья в лесах, по обочинам дорог, в городах и деревнях. Кажется, что в людей вселились какие-то дендробесы, и люди с упорством маньяков превращают эту землю в пустырь, который потом они же, прозрев однажды, с тоскою проклянут. А пока они чувствуют себя покорителями дикой природы, хотя дикой природы в Европе нет уже лет триста, – все эти деревья посажены руками их же предков. Но предки эти жили еще до Конца Света. Тогда еще существовало Время и История, и люди думали о тех, кто придет на Землю после них в будущем. И вот наступило это будущее, и Время кончилось вместе с Историей, поэтому ныне живущие уже не думают о будущих поколениях, потому что будущего нет когда закончилось Время. Когда же случился этот Конец Света и как он случился?

... Я иду по тропинке в лесу эйдосов-деревьев. Края тропинки укрыты папоротниками, а под ногами сияют пятна солнечного света, который гигантскими столбами низвергается из поднебесных крон. Я смотрю на резные края папоротников и вспоминаю о фракталах – формах, в которых один и тот же мотив повторяется на разных масштабах. Так отдельный листок папоротника повторяет форму целого растения. А его часть повторяет ту же форму в еще меньшем масштабе. И можно вообразить себе как тот же закон строения повторяется при бесконечном уменьшении масштаба – это и есть фрактал. Он обладает дробной размерностью, которая меньше двух, но больше единицы. И деревья – это тоже фракталы: их ветки повторяют одну и ту же форму при уменьшении масштаба. И размерность деревьев тоже чуть больше единицы, хотя они занимают объем в трехмерном пространстве. А это значит, что если провести прямую сквозь крону дерева, например линию взгляда, то она непременно

пересечет какую-нибудь ветку, большую или маленькую. Но это только в случае идеального дерева, которое ветвится вплоть до бесконечно малого масштаба. Но я же иду как раз среди идеальных деревьев, так что... Вот! Мне внезапно пришла в голову мысль о том, как должен выглядеть Конец Света – он должен быть фракталом!

О, не спешите кривить губы в скептической усмешке, лучше послушайте! Мир наш устроен так, что в нем большинство тел имеют фрактальную границу. Идеальные тела Платона – это исключение, а не правило. Только кристаллы воплощают в себе эти эйдосы. А вся органическая природа, все ландшафты – это фракталы. Посмотрите на береговую линию моря: где кончается море, а где начинается берег? Вот казалось бы уже берег, но при уменьшении масштаба мы видим здесь остатки моря. А вот море, но в нем можно рассмотреть кусочки берега. Такая граница – это кружево. Перпендикуляр к такой границе будет пересекать то область до границы, то область после границы. И мы долго еще не будем понимать, перешли мы уже границу между этими областями или еще нет. Вот так и Конец Света – это фрактальное кружево между Историей и Вечностью. Это История, в которую причудливо вкраплены пятна Вечности, и это Вечность, в которую вкраплены пятнышки Истории. Мы, человечество, как минимум уже пятьсот лет живем внутри этой границы, так и не понимая, длится ли еще История или уже наступил обещанный Конец.

Дмитрий Быков в своей лекции о Блоке говорил, что только Блок заметил Второе пришествие Христа во время русской революции. Помните: «В белом венчике из роз впереди Исус Христос»? Это потому что Блок был визионер, и он увидел событие в нужном масштабе, а в этом масштабе как раз и оказалась область Конца Света. Такие области наблюдались и во времена Реформации, и во время Французской революции, и во время мировых войн. Но вокруг этих дыр Времени казалось привычно текла История, залатывая эти дыры Контрреформацией, Реставрацией и Новым мировым порядком. Но ткань исторического Времени стала ветхой и в ней то и дело проглядывали дыры Вечности вроде Кхмерской революции или Исламского Халифата. И так ли уж был неправ Фукуяма, провозгласив Глобализм концом Истории? Он, как и Блок, увидел мир в нужном масштабе. Конец Света наступил и наступает, Христос пришел и приходит. Привычные временные модальности не применимы к событиям, когда закончилось и заканчивается Время.

...Я обнаруживаю себя на плоту посреди быстрой речки, вьющей свои водовороты среди древесных гигантов. Я лежу на спине и смотрю в небо, которое образовано их кронами. Солнечные водопады время от времени заставляют щуриться. Река бережно несет меня и укачивает. Время застыло...

А что такое время? - Вопрос, который мучал еще Блаженного Августина: прошлого уже нет, будущего еще нет, настоящее непрерывно превращается в прошлое. Что же остается? Остается человеческая память и прошлое время в этой памяти. А ведь человеческая память эквивалентна человеческому разуму. Теряя память, человек теряет и разум. И это справедливо не только по отношению к отдельному человеку, погружающемуся в пучину Альцгеймера. Это справедливо и по отношению к человеческому сообществу, которое существовало во Времени и в Истории только помня о жертве Христа и о грядущем Конце Света. Ведь до христианства Истории не было - люди жили в циклическом времени языческой Природы. А напряженное ощущение Времени появилось только после распятия Христа. Но и исчезать оно начало вместе с постепенной утратой христианства после Реформации, Просвещения, мировых войн. И вот наконец сейчас, в эпоху Глобализма, Христос полностью забыт Европейской цивилизацией. Глобализм – это и есть коллективный Альцгеймер, в котором заканчивается История, и остается постисторическое существование Конца Света.

А как существуют люди в Конце Света, после Времени? - А так же, как они существовали до начала Времени. Это явление уже получило название – «архаизация жизни». Как в Исламском Халифате, например. Еще пара шагов по этому пути и в человеке вновь оживут этологические программы каннибализма. А там и до павианьего стада недалеко. В конце Времени идет разрушение цивилизации, которая ведь и есть Европейская христианская цивилизация. Именно в ней и только в ней появилась и расцвела современная наука и основанная на ней техносфера. Вся эта цивилизация держалась на индивидуальных усилиях человека по преодолению Времени. Именно эти усилия рождали новые идеи и новые формы существования. И вот Время кончилось. Европа кончилась - в 1918 году произошел «Закат Европы». А когда Времени нет, то и усилий для существования прилагать больше не нужно. И вот новые формы бытия исчезают, а из тьмы бессознательного вылезают древние бесы дочеловеческого существования. Потому что цивилизованная жизнь требует усилий, а обезьянье стадо возникает само собой, как кристалл из пересыщенного раствора.

А почему? - Да потому что человек стремится к счастью! А мозг человека мешает этому счастью, как это замечательно сформулировал профессор Савельев. Впрочем, это еще Пушкин сказал: «...чтоб мыслить и страдать». А кому охота страдать? Вот здесь и скрыта главная заноза человеческого существования: разум и тело – «две вещи несовместные». Тут кроется развилка человеческой судьбы: или отказаться от разума и быть счастливым в телесной жизни примата, или отказаться от страстей тела и быть счастливым в жизни своего разума. Первое – это животный рай, он же – ад для аскета-интеллектуала, второе – это рай аскета, но ад для телесного человека. Вот поэтому я и мучаюсь на земле, видя как телесные люди постисторической эпохи создают вокруг себя свой рай. Потому что он не отличим от моего ада. Но если бы они могли заглянуть в мой рай, они бы ужаснулись...

...Между тем речка стала шире и мельче. То тут, то там появились мели и галечные островки, вокруг которых весело журчали потоки воды. Великий лес вдруг кончился, река вынесла мой плотик на открытое пространство лукоморья. Впереди уже был слышен шум набегающих на берег волн. Впереди было море. Мой плотик уже не двигался – он прочно сидел на мели. Я встал и, взмахнув руками, с огромным усилием поднялся в воздух. И полетел медленно и очень низко над сверкающей рекой в сторону моря. Оно уже занимало весь горизонт и было каким-то жемчужно-серым, как и небо над ним. Между небом и морем не было никакого перехода: облака слоились друг на друга и незаметно превращались в волны. Я совершил еще одно усилие и поднялся выше. Теперь с высоты птичьего полета я увидел посреди моря островок. Волны концентрическими кольцами стягивались к нему, завершаясь кольцом пены у его берега. На островке я увидел белый домик буквой «Г» и каре вековых деревьев вокруг сада старых яблонь. Яблони были в цвету. По периметру сада брел молодой человек с темной бородой и в вышитой шапочке. Он поднял голову вверх, посмотрел на меня и начал что-то говорить. Я снизился, чтобы услышать его слова, и тут узнал и его, и этот дом, и этот сад. Это был мой дом и мой сад. И это был я, только лет на тридцать моложе. И этот я говорил мне: «Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро...»

Я проснулся со слезами на глазах. Быть может это были слезы счастья...

Имение «Ясневая поляна», декабрь 2017- февраль 2018